

МЕМУАРНЫЕ ЗАМЕТКИ ПОКОЙНОГО СЁМЫ ШТАПСКОГО

Уважаемые господа!

После смерти Сёмы Штапского в его столе были обнаружены разрозненные записи, очевидно предназначавшиеся для книги мемуаров «ЭТО Я – СЁМОЧКА», над которой покойный референт работал в последние годы жизни.

Мемуарные свидетельства Сёмы, общавшегося со знаменитыми людьми своего и нашего времени – уникальны.

Кроме того, это еще познавательное и увлекательное чтение.

На страницах Сёминых мемуаров оживает целая когорта знаменитых писателей, артистов, режиссеров (многие из которых, увы, уже находятся в лучшем мире вместе с самим мемуаристом): Агния Барто, Константин Ваншенкин, Эммануил Виторган, Андрей Вознесенский, Зиновий Гердт,

Николай Глазков, Станислав Говорухин, Григорий Горин, Андрей Дементьев, Евгений Долматовский, Евгений

Евтушенко, Михаил Жванецкий, Отар Иоселиани, Михаил Исаковский, Валентин Катаев, Савелий Крамаров, Семён

Липкин, Инна Лиснянская, Айрис Мёрдок, Юнна Мориц, Георгий Натансон, Булат Окуджава, Борис Пастернак, Ирина

Перетц, Евгений Рейн, Роберт Рождественский, Давид Самойлов, Михаил Светлов, Борис Сичкин, Ярослав

Смеяков, Арсений Тарковский, Александр Твардовский, Абрам Трембач-Дехтярь, Константин Федин, Екатерина

Фурцева, Геннадий Хазанов, Борис Херсонский, Мариэтта Шагинян, Александр Ширвиндт, Михаил Шолохов, Леонид

Ярмольник...

По мере разбора и систематизации его архива мы будем предлагать вашему вниманию очередную запись.

Иосиф Фурц-Беленький

1. Любка и Лидка

...Помню, сидим мы в 1971 году со Смеяковым в ресторане ЦДЛ. Это за год до смерти его было. Смеяков, надо сказать, вовсе не был таким уж звериным антисемитом, каким его некоторые изображают. Меня, например, если не любил, то уважал крепко. Часто, в подпитии, дружелюбно бил кулаком по плечу и спрашивал:

– Сёмка, какие у меня лучшие стихи?

Я неизменно отвечал:

– Про Любку Фейгельман, Ярик.

– Не-ет! Не про Любку! – орал он обычно на весь Дубовый зал, – а про Лидку! Хорошую девочку Лидку!

Но на этот раз я с сильного перепою без обиняков обозвал эту Лидку графоманией. Смеяков с тяжелой злобой посмотрел на меня, выпил очередную рюмку водки и... заплакал. И внезапно закричал, чтобы все слышали:

– Сломали, гадюки, хребет моему таланту!

Потом неуклюже обнял меня и горестно зашептал:

– Ты прав, Сёмка, Лидка – это (ненормативное слово), а Любка... эх, сволочи...

И, утерев слезы, вальяжно отправился в клозет.

2. Демид и Берта

Между прочим, мало кто знает, что начинал я как поэт. Особенно плодотворны были для меня пятидесятые годы. Я писал по 80 стихотворений в месяц. Несколько моих вещей горячо одобрил Евтушенко и даже пообещал прочитать их своему другу Фиделю Кастро.

Сегодня я уже ничего не помню из написанного в ту пору, кроме двух строчек:

**За столом сидит Демид,
папиросою дымит.**

Строки эти я запомнил, потому что именно их велела переделать мой первый редактор Берта Моисеевна Ровинзон, заведующая литературным отделом в какой-то захудалой газетенке. Она настаивала вот на каком уточнении: папироса должна дымить непременно **изо рта** Демида. Всякое иное положение папиросы было, по мнению безумной редакторши, пожароопасно: Демид мог попросту сгореть к чертовой матери вместе со своим столом. Вообразите некоторую сюрреалистичность ситуации: еврейский юноша Сёма приносит Берте Ровинзон стихи о каком-то Демиде, невесть куда вставившем свою зловонную папиросу, сидящем, вероятно, на плохо оструганной лавке, в пахнущих дегтем сапогах, и поплевывающим в угол избы желтой слюною.

Я, естественно, никакой правки не произвел, и заодно с Демидом погорела вся моя подборка.

3. Певчий дрозд

Давным-давно, в тбилисском подвальчике, мы пили с ним молодое саперави из полупрозрачных кувшинов, которые с книксенами ставили на наш столик прелестные длинноногие подавальщицы. Отар съедал по пять-шесть шампуров шашлыка. Опустевшие шампуры не глядя бросал в угол и однажды убил таким образом неосторожную местную крысу.

А на рассвете водил меня в какие-то несимпатичные харчевни, где мы ели хаши – обратительную смесь холодца и бульона. Но это хорошо опохмеляло.

Через тридцать пять лет мы увиделись в Париже. Зашли в ресторанчик. Кривоногий официант откупорил бокалы. Отар выпил полбокала, а к еде едва притронулся. Долго молчал и смотрел на меня невидящим взглядом.

– А все-таки певчий дрозд – моя лучшая картина, Сома, – наконец произнес он печально и закурил сигарету не с того конца.

4. Палец песенника

У поэта-песенника Долматовского была скверная местечковая привычка. Здороваясь, он, как положено, протягивал правую руку. А указательный палец левой втыкал в пупок коллеги, издавая губами противный чпокающий звук. Всё это, разумеется, подавалось как невинная шутка, но от нее часто бывало больно. Студенты его литинститутского семинара ходили, держась за животы. Свой трюк он проделывал порою и с высоким начальством, а однажды чпокнул самого Шолохова. Автор «Тихого Дона» нецензурно прошелся по его пятой графе и пообещал отправить хохмача в Биробиджан возглавлять местную писательскую организацию.

Совершенно избегать рукопожатий Долматовского было нельзя, он был в фаворе, и от него многое зависело. Тогда обратились ко мне: «Сёма, ты у нас самый умный, придумай, как отвадить проклятого Ароньча».

На следующий день песенник радостно устремился ко мне в фойе Дома литераторов. Но тотчас же взвыл от боли: его шаловливый перст сломался о стальную пряжку трофейного офицерского ремня, который я накануне одолжил у Кости Ваншенкина.

Тогда же, я полагаю, были рождены незабвенные строчки Агнии Барто: «Женя, Женя, глупый мальчик, ты куда засунул пальчик?». Строки эти, однако, по требованию цензуры были изъяты из ее очередной книжки «Зайкина лошадка».

5. С гневом и возмущением

Однажды мы с Арсением Тарковским посетили кинозал переделкинского Дома творчества. Показывали что-то полузапретное, не допущенное в массовый прокат. Какой-нибудь там Пазолини, сейчас не помню точно. Между мной и Тарковским сидела глухая Мариэтта Шагинян. Она забыла свой слуховой аппарат, и Арсений взял на себя обязанность время от времени комментировать ей происходящее на экране.

С первых же минут я почувствовал неладное. В кадре то и дело мелькали чрезвычайно декольтированные женщины, почти не вылезавшие из объятий своих возлюбленных. Страстные поцелуи шли все более крупными планами. Арсению нечего было комментировать. Шагинян нервно ерзала на жестком сиденье и с недоумением оглядывалась то на меня, то на Тарковского.

Внезапно на экране появилась совершенно обнаженная дама. Мариэтта порывисто схватила меня за рукав.

– Сёма, вы когда-нибудь видели такое?! – гневно воскликнула она.

– Увы, Мариэтта Сергеевна, – отвечал я, – видел, и даже неоднократно.

Но старуха меня скорее всего не услышала.

Последовавшая за тем постельная сцена повергла Мариэтту в шок. Она уже ничего не говорила и лишь выпученными от возмущения глазами смотрела на экран. Арсений долго, с любопытством изучал реакцию старухи и неожиданно, на весь зал, закричал в ее глухое ухо:

– Мерзавцы! Настоящие мерзавцы!

6. В «Гамбринусе» с Бубой

Пили мы как-то пиво с Борисом Сичкиным в знаменитом одесском «Гамбринусе». Перед нами стояло шесть опорожненных кружек, хотелось еще, но деньги кончились. Я в ту пору практически не печатался, а Боря почти не снимался.

– Сёма, я тебя очень люблю, – произнес Боря, – но ты поц. Зачем ты вчера сказал Мише Жванецкому, что он – двойной выкидыш?

– А как же? Именно двойной. Из Ильфа и из Петрова, – ответил я.

– Сёма, ты – мишугинер*. Если бы ты ему это не сказал, он бы сейчас сидел тут и поил нас пивом.

Внезапно вокруг нас началось какое-то копошение. В Боре узнали персонажа прославленного боевика. Человек пять подошли к нашему столику.

– Хлопцы, это Буба! – восторженно закричал один, тыча пальцем в Бориса.

– Таки он, – спокойно подтвердил другой и неожиданно протянул артисту гитару, – Буба, спой нам «я одессит, я из Одессы, здрасьте...».

Боря закипал бешенством, однако встал, элегантно приподнял шляпу и очень внятно выговорил:

– Родненькие мои, как бы я хотел, чтобы вы все сделали для меня *неуловимые!*

Хлопцы поняли, рассмеялись и оставили нас в покое.

Но через три минуты на нашем столике оказалось четырнадцать кружек пива.

* Мишугинер (идиш) – сумасшедший.

7. Перебродившее сусло

Как-то я гостил у Зямы Гердта в Красной Пахре. В одно прекрасное утро мы сидели с хозяином на террасе его дачи, пили чай и разговаривали об искусстве.

– Нет, Сёмочка, всё-таки Кешин Онегин мне нравится больше.

– Не знаю, Зямочка, не знаю, у Кеша он слегка отдаёт Гамлетом. Мне ближе Сережин.

– Кешин отдаёт Гамлетом, а Сережин – Бендером.

– Может быть, Зямочка. Тебе виднее, ты при нем состоял Паниковским.

Внезапно на террасе появился Твардовский, Зямин сосед. Он был чрезвычайно зол.

– Вот, полюбуйте, Зиновий Ефимович, что написал один ваш приятель! – выкрикнул он и бросил на стол свежий номер «Нового мира», – и ваш, Штапский, тоже! (Твардовский неприязненно взглянул на меня) А я проворонил! Завтра вызывают в ЦК!

– «Денис Иванович любит пиво. К празднику у него всегда припасена бутылочка чешского. Впрочем, квас он тоже выпить не дурак. Особенно собственного приготовления, когда сусло хорошо перебродит...» – прочитал Зяма подчеркнутые красным предложения и, скорбно покачивая седеющей головой, несколько раз прошептал: «ужас!», а потом дважды: «пять аллюзий!».

«Пять аллюзий» были вот каковы. Денис Иванович оказывался перевернутым Иваном Денисовичем. Любовь к чешскому пиву, да еще припасаемому к празднику, – означало, разумеется, сочувствие «пражской весне». Далее шла искаженная цитата из Маяковского о рабочем классе. Но страшнее всего была скверная игра с фамилией всеильного секретаря ЦК. А уж «хорошо перебродит» могло вызвать какую угодно ассоциацию, одну криминальнее другой.

Поздно вечером Твардовский зашел снова. Вид у него был измученный, а состояние – явно предзапойным. В поселке все опасались этого, и когда автор «Теркина» спросил, нет ли чем-нибудь промочить горло, Зяма горестно развел руками и с тяжелым вздохом произнес:

– Александр Трифонович, дорогой, мое сусло еще не перебродило...

Твардовский криво усмехнулся и мрачно пожелал нам спокойной ночи.

8. Гойя и фазаны

Много лет назад, в блаженное брежневское безвременье, сидели мы с моей племянницей, поэтессой Ириной Перетц, в ресторане ВТО. Выпили и закусили изумительной осетринкой. Ирина была необычайно хороша, и знаменитый поэт-модернист послал ей со своего столика початую бутылку шампанского. Бутылку сопровождала салфетка с начертанным на ней стихком:

Люби меня, сладкий Перетц!
Люби меня – голя!
Чихай на своих соперниц!
Я – Гойя!

Салфетку Ирина со смехом бросила на пол, а шампанское мы весело распили с примкнувшим к нам Геной Хазановым.

Две недели спустя я принес в «Юность» Ириныны стихи. Минувя отдел поэзии, пошел сразу в огромный кабинет Андрюши Дементьева и попал в самый разгар какого-то совещания. Дементьев его быстро закрутил из уважения ко мне (в начале Андрюшиной карьеры я сделал ему царский подарок: познакомил с Леонидом Утесовым, а тот вывел его на эстрадных композиторов – Блантера, Фрадкина, Шмадкина...).

Стихи были немедленно сверстаны, и я со спокойной душой уехал в Париж на заседание ЮНЕСКО. Однако вмешательство отвергнутого Ириной всесильного модерниста привело к тому, что подборку в мое отсутствие сняли. Дементьев потом долго извинялся («Сёма, я не знаю, как это произошло!..»), обещал поставить стихи в ближайший номер, но Ирина уже подала документы на выезд.

Нынче она живет на земле обетованной и разводит фазанов на своей фазенде (как Егор Исаев – кур на переделкинской даче). Недавно я получил от нее стихотворное известие:

**Был Гена у меня Хазанов
и похвалил моих фазанов.**

Гена после возвращения рассказывал мне, что фазаны были действительно неописуемо красивы. И к тому же – необыкновенно вкусны.

9. Штапский и Штабский

Мою фамилию то и дело коверкают, иногда непреднамеренно, но чаще всего из побуждений недоброжелательных.

Так покойный Катаев, в отместку за отрицательную рецензию на его мемуарную прозу, на все эти «алмазные колодцы забвения», неизменно называл меня *Штапским*. А министр культуры Фурцева в 1967 году на секретном заседании Политбюро прочитала доклад «Сёма *Штапский* как зеркало воинствующего сионизма», хотя, видит Бог, я ни малейшего отношения к этому почтенному движению не имел.

Зато вдова одного известного поэта и переводчика (сама – поэт и переводчик) заметила, что «Штапский» звучит энергично и мужественно и что в нем слышится нечто военное.

И чутье не подвело эту прекрасную женщину. Фамилия моя ведет происхождение от деда Соломона, служившего интендантом в каком-то кавалерийском полку еще при последнем Императоре. Начальник штаба полковник Рихтер (остзейский немец) как-то сказал деду: «Ты, Соломон, есть мой *штабский* любимец. Люди твоей крови живут в честности и не наворуют у нас лишний кусочек сена». После этого комплимента Соломон предпочел стать Штабским, а «п» вместо «б» образовалось в его документе по ошибке малограмотного писаря Омельчука.

История сия имеет, увы, печальный конец. Однажды промеж коней начался мор, в котором низшие чины обвинили Соломона и потребовали его немедленно повесить. Добряк Рихтер, к сожалению, поддался этим настроениям, но, благо, на расправу не был скор, а только время от времени показывал деду ладную пеньковую веревку и нехорошо улыбался. Но тут грянула война с германцами, и на той веревке повесили самого Рихтера как представителя неприятельской нации.

Насмерть перепуганный Соломон дезертировал, а через несколько лет оказался в Красной армии. Погиб он в 1920 году, под селением Попшоны Мрожечки, в неравном бою с белополяками.

10. Дитя слова

Д. Н. Д.

На русский манер я называл ее Аришей.

Говорили мы в основном на языке ее букв и вязов, но иногда и мои родные осины шли в ход. Помню, как в Париже, на фуршете в штаб-квартире ЮНЕСКО, не желая протискиваться к столу, плотно окруженному смокингами, она весело и повелительно крикнула:

– Сйома, доставай мне тарелка с черная икра и бокал водка наливай меня!..

Ее почему-то очень интересовали нравы нашей паскудной писательской среды. И когда я живописно повествовал о том, как пьяный стихотворец Р. дал в ЦДЛе по роже похмельному беллетристу Б., она хлопала в ладоши и радостно восклицала:

– Сйома, жалею, что ты только критикйоз! Ты бы получился неплохой прозомахер!

Я попытался неудачно скаламбурить:

– Критикйозы, Ариша, ходят по пабам, а прозомахеры – по бабам.

– Что есть побабам, Сйома? – спросила она, и не выслушав моего объяснения, восхитительно захохотала.

В последний раз я ее видел в Лондоне, на какой-то букеровской церемонии. Она уже была больна. Я подошел к ней, назвал Аришей и поцеловал ее сухое сморщенное запястье. Она беспокойно поглядела на меня, словно силясь вспомнить. Я перешел на русский. Лицо ее на мгновение озарилось светом узнавания, на одно лишь мгновение.

Но прекрасные глаза ее смотрели на меня участливо и нежно.

11. Сёма и Сюня

Поэты любили меня и охотно посвящали мне стихи. И не кто-нибудь, а Миша Светлов и Рита Алигер, Дезик Самойлов и Иося Бродский увековечили мое имя в своих творениях.

Последний в этом ряду – мой давний приятель, поэт-сатирик Абрам Т.-Д., чтоб ему пусто было! Пользуясь тем, что в литературной среде муссируются слухи о моей смерти, он сочинил эпиграфию и объявил, что она украшает мое надгробие на Ваганькове:

**Прохожий! Здесь уснул, как дома,
Известный критик Штапский Сёма.
Дрожи и помни: все мы – пища
Для неизбежного кладбища!**

Однако жемчужина моей коллекции – дружеская эпиграмма одного из драгоценнейших наших поэтов.

Как-то мы отдыхали в Ялте с моим тезкой Сёмой Липкиным. И когда его Инна или моя Дора звали кого-нибудь из нас – отрываясь от карточной партии, мы вскакивали оба. Тогда, чтобы не было путаницы, меня временно переименовали в Сюню (так меня называла мама в детстве), а Липкина, как старшего и заслуженного литератора, оставили Сёмой.

Нашими партнерами по картам часто оказывались отдыхавшие в том же пансионате Шура Ширвиндт, Гриша Горин и Сава Крамаров. Точнее говоря, Сава, давно уже ставший правоверным иудеем, в карты не играл, водки не пил, грыз какие-то загадочные орешки,

но тем не менее не отлеплялся от нашей компании. Ширвиндта он своим поведением явно раздражал. Каждые пять минут, отвлекаясь от карт, Шурка оглядывался на Саву и настойчиво произносил полным обаяния голосом:

– Савик, тебе пора в синагогу!

Сава отмалчивался, презрительно кося знаменитым глазом в сторону Шуры, или отвечал ему своей фирменной ухмылкой.

Благородный Гриша яростно шепелявил мне на ухо:

– Сёма, сё это Сюрка пристаёт к Сяве? Совсем самасесий!

Компания не путалась в наших именах: для них я был, как положено, Сёмой, а Липкина почтительно величали Семеном Израилевичем.

– Семен Израилевич, – лениво тянул Шура, сбрасывая козырного туза, – а какой эпос вы сейчас переводите? Я слышал, эпос биробиджанского народа?

Липкин не то обижался, не то имитировал обиду, но отвечал неизменно плачущим голосом:

– Шура, оставьте, пожалуйста, ваши дурацкие остроты! А то я пожалуюсь на вас Плучеку!

– Сёма! Сюня! – донеслись до нас голоса Инны и Доры, – смотрите, кто приехал!

Со стороны пансионата, тяжело опираясь на суковатую палку, медленно приближался к нам Арсений Тарковский.

В тот же вечер он и сочинил это незабываемое четверостишие:

**Хоть о них не знаем всё мы –
Оба друга были Сёмы.
Но сейчас, в конце июня,
Липкин – Сёма, Штапский – Сюня.**

Я всё никак не могу дозвониться до непоседливого филолога Д. Б. (который уже восемнадцатый год составляет полное собрание стихотворений Тарковского) и собственноручно передать ему Арсюшину эпиграмму. По последним сведениям Д. Б. вот-вот должен возвратиться из Новой Гвинеи.

12. Жена моя жизнь

Медовый месяц мы с Дорой провели в Переделкино. Писательский мир в ту пору жене моей был совершенно неизвестен. Она, например, искренне полагала, что сказочник Корней Чуковский и драматург Корнейчук – одно и то же лицо.

Как-то на занесенной осенней листвою тропинке, ведущей к знаменитому роднику, мы повстречали Пастернака, которому я накануне сунул в почтовый ящик подборку своих стихов. Б. Л., как сейчас помню, был в сапогах, обшарпанном синем плащике и кепке.

– Самуил, – сказал он мне, – у вас есть одна гениальная строчка: «Поезд павлином взлетает со шпал».

(Это была строка из моего «импрессионистического» цикла «Кошмары».)

Неделю спустя мы с Дорой, слегка подвыпив в буфете, целовались в фойе Дома литераторов, забыв обо всем на свете.

– Дорушка, жизнь моя, жена моя, жизнь моя... – восторженно бормотал я, обнимая супругу. Она была страсть как хороша!

Наши поцелуи были прерваны довольно бесцеремонным смешком. Я нехотя оторвался от Доры. Возле нас остановились Константин Федин и Михаил Шолохов. Оба были мертвецки пьяны. Дора глядела на них влюбленными глазами.

– Жена моя жизнь! – ехидно прогундосил автор «Поднятой целины», оценивающе рассматривая Дору, – и не стыдно вам, товарищ Штапский?

– Миша, Сёма перефразировал стихи моего друга Бориса! – вступился за меня Федин, пялясь на мою красавицу.

– Умом Бориса не понять! – раздраженно бросил Шолохов и направился в клозет.

Оба будущих нобелеата, как известно, весьма недолюбливали друг друга. Б. Л. презрительно называл Ш. станичником и Мишкой Вёшенским.

Через несколько дней мы снова встретились с Б.Л. на переделкинской тропинке и я в лицах изобразил ему случившееся в писательском клубе. Б.Л. расхохотался и произнес, очаровательно подвывая:

– Самуил, передайте станичнику, что ему и понимать-то меня нечем!

И пошел к роднику, постепенно тая в ноябрьских сумерках. Мокрый снежок легко оседал на его синем плащике.

Больше я Б.Л. никогда не видел, и таким он мне запомнился навеки.

13. Зайчик и ящер

Д. Н. Д.

В конце 60-ых я часто заходил к Роберту Рождественскому в его фешенебельную квартиру на улице Горького. В один из таких визитов я застал там режиссера Натансона, только что закончившего съемки фильма «Еще раз про любовь», в котором Таня Доронина должна была исполнять песню на стихи Роберта.

– С-сёма, п-послушай, как т-тебе? – спросил хозяин, наливая мне стакан мукузани и декламируя:

**А весной я в несчастья не верю,
И капли не боюсь морозящей.
А весной линяют разные звери.
Не линяет только солнечный зайчик.**

– Неплохо, Робик, неплохо, но рифма «морозящей – зайчик» мне совсем не нравится. Да это и не рифма вовсе, ты же понимаешь.

– Ну, у Евтуха, п-положим, еще и не т-такое рифмуется... Да я уже всё п-перепробовал с этим зайчиком: м-мальчик, п-пальчик, з-зальчик – и н-ни черта не годится!

– Тогда надо пойти другим путем, – сказал я и взяв у него бумажку с текстом песни, удалился в соседнюю комнату. И через пятнадцать минут возвратился и прочел свой вариант:

**А весной я в несчастья не верю,
И капли не боюсь морозящей.
А весной линяют разные звери.
Не линяет только вымерший ящер.**

– Хм... По-моему, стало гораздо интереснее! – произнес Натансон, – да и рифма опять же побогаче.

– С-сёма, ты гений! – восхитился Роберт и налил мне рюмку коллекционного киндзмараули.

Спустя два дня он позвонил мне и сообщил, что куплет с ящером блистательно спет Таней и благополучно записан на студии. А через неделю, когда я снова заглянул к нему, Робик встретил меня с тяжелым вздохом.

– От рептилии п-пришлось отказаться, С-сёма.

Оказалось, что накануне Натансона вызвал председатель Госкино Романов и заявил буквально следующее: «Жора, народ у нас простой и ящера от ящера не сильно отличает. А на днях ящур истребил половину дальневосточных коров. Вы там поете, что он вымер. А кто мне даст гарантию, что к премьере фильма покойник не сожрет весь наш крупный рогатый скот? Народ вашу песенку не поймет, Жора. Возвращайтесь к зайцу, от него по крайней мере нет никакого вреда».

Рассказывая, Робик разливал по стопкам «Столичную».

– П-помянем, С-сёма, твоего тираннозавра и заодно несчастных к-коровок.

Мы выпили, не чокаясь.

14. Сожженный билет

Дело было в 1974 году. Мы с Женей Евтушенко приехали в Одессу в составе унылой писательской делегации. Женя услышал по вражескому радио, что начинающий одесский поэт Борис Херсонский сжег свой комсомольский билет.

– Надо бы проведать паренька и поддержать его, а то КГБ с него не слезает, – предложил мне Женя, оттащив меня от тучного лирика Поженяна, угощавшего коллег ликером собственного производства.

В тот же вечер мы сидели в гостях у Херсонского. Водка лилась рекой вместе с крамольными речами. Женя совершенно обаял юного поэта, ругая партию, Брежнева и чуть ли не самого Ленина (хотя не так давно к столетию вождя настроил поэму «Казанский университет»). Крыл матом Союз писателей и грозился из него выйти. Потом потребовал принести свечку и сжег на ней свой писательский билет. Борис глядел на Евтуха с обожанием. Расставаясь, они целовались и плакали, проклиная тоталитарный режим.

Вскоре Евтушенко улетел в Канаду. А мы с Борисом подружились. Гуляли по бульварам, сидели в «Гамбринусе» и однажды зашли в гости к моему многолетнему приятелю Говорухину, работавшему в ту пору на Одесской киностудии. Выпили и закусили. Я под страшным секретом рассказал Славе историю с евтушенковским билетом. Слава с изумлением посмотрел на меня.

– Сёма, – укоризненно произнес он, – ну пацану простительно, а ты как мог купиться, старый олух? Евтух только на моих глазах сжег два своих билета.

Херсонский с ужасом уставился на Говорухина. А тот неспешно раскурил трубку и продолжил:

– Понимаете, какая штука... Евтух приезжает из очередной заграницы, идет в писательский секретариат и заливает: я подарил свой билет Фиделю Кастро. Или: я презентовал билет в качестве сувенира президенту Никсону. Или: Ленин на нашем билете очень понравился моему другу Пабло Пикассо. А кто может быть против Пикассо или Че Гевары? Евтуху говорят: ты молодец и выписывают новые корочки. А он их сжигает в компании доверчивых идиотов, корча из себя диссидента.

Наступила долгая зловещая пауза, по истечении которой Херсонский нехорошо выругался. Слава мягко тронул его за рукав:

– Не спешите с выводами, молодой человек.

Говорухин набил трубку новой порцией табака и завершил свой рассказ:

– Самое странное, что один такой евтуховский билет недавно нашелся. И где бы вы думали?.. В пиджаке несчастного Альенде*. Сам Пиночет достал его из кармана убитого. Я узнал об этом от...

И Говорухин прошептал мне на ухо фамилию весьма высокопоставленного партийного чиновника.

Трубка Славы блеснула золотистым пламенем, и густое ароматное облако накрыло меня и юного диссидентствующего поэта.

* *Примечание для молодых.*

Сальвадор Альенде – президент Чили, (1970 – 1973), погибший во время военного переворота при штурме президентского дворца.

15. Песенка кавалергарда

Знойным летом 196* года я отдыхал в переделкинском Доме творчества. Жизнь моя была несчастна: я зверски и безответно влюбился в поэтессу Юнну Мориц. Это ни для кого не являлось секретом (я не умел скрывать своих чувств), и кое-какие слухи доползли даже до моей Доры.

Каждый вечер я в отчаянье напивался с Дезиком Самойловым – мы с ним делили темную комнатенку в самом конце коридора, за которой был только сортир. У Дезика нашлись свои причины для переживаний: не клеился перевод какого-то узбекского классика. «Ах, Сёма, как мне опостылел этот треклятый бай!» – говорил он, наливая очередную рюмку. И мы обнимались, и плакали, и несли околесицу.

В таком положении нас застал однажды Булат. Я держал Дезика за верхнюю пуговицу болгарской рубашки и восторженным шепотом произносил пошлости о вечной любви. Булат отказался от выпивки и стал что-то рассеянно наигрывать на гитаре. Внезапно, взяв два мощных мажорных аккорда, Булат запел:

**Не распускайте, Сёма, слюни,
Разгладьте складки на челе!
Не обещайте Мориц Юнне
Любови вечной на земле!**

Это, как вы уже догадались, был прообраз той знаменитой песенки кавалергарда, которая через много лет прозвучала в фильме о декабристах. Правда, под другую – совершенно дивную музыку Исаака Шварца.

16. Эхо Полтавы

Новый 1988 год мы встречали с Женей Рейном и моей племянницей, поэтессой Ириной Перетц, приехавшей в Москву из Хайфы после долгой разлуки. У них с Рейном начался кратковременный роман. Рейн с маниакальным упорством твердил ей, что он – первый русский поэт. Причем, по уверению Иры, не забывал об этом даже в минуты близости.

– Как ты считаешь, я – первый русский поэт? – спросил он меня, разливая шампанское.

– Естественно, Женюра. Я даже думаю, что нобелевский комитет сильно ошибся, дав премию не тебе, а твоему ученику, – ответил я.

– Никакой ошибки не было, – со странной запальчивостью возразил Рейн, – никакой, дорогой Сёма! Просто шведские свиньи решили перестраховаться.

Мы с Ирой с недоумением глядели на Женю, азартно намазывавшего красную икру на кусок белого батона.

За окном взрывались петарды.

– Ошибки не было, – угрюмо повторил он, – на нобелевских сертификатах уже была проставлена моя фамилия. И тут черт меня дернул выпить в ЦДЛе с проклятыми хохлами...

Оказалось, что украинские поэты Драч и Павлычко уговорили Рейна поставить подпись под коллективным посланием Горбачеву. В письме было выдвинуто требование реабилитировать гетмана Мазепу. Через два дня письмо опубликовал «Вечерний Киев». Министру культуры Захарову позвонил секретарь шведской Академии и доверительно сообщил: «Мы есть нация политкорректорная. После этой подписи нашу премию Рейну могут неверно трактовать».

Женя залпом осушил свой бокал. Наступила тяжелая тишина, которую резко нарушил хлопок петарды. Ира включила телевизор. «С новым годом, дорогие товарищи!» – сказал Горбачев.

17. Сельдь тихоокеанская

Я неплохо знал Николая Глазкова. В последний раз мы с ним выпивали в компании Мони Виторгана и Лени Ярмольника, тогда еще совсем юного, в Доме кино. Официант принес блюдо аккуратно разделанной сельдки, и Коля, еще не притронувшись к ней, зловеще прошептал мне на ухо:

– Сёма, вот сельдь, уморенная большевистской сволочью!

– Коля, в меню сказано, что это – сельдь тихоокеанская, – отвечал я так же негромко.

– И на Ти-хом а-кеане свой закон-чили па-ход! – внезапно запел Коля, грубо отстраняя Моню, нагнувшегося к нему с какой-то невысказанной фразой. И тотчас же схватил Леню за ворот рубашки:

– А из тебя я сейчас сделаю цыпленка табака!

Но было ясно, что ничего такого не произойдет: левый Колин глаз плутовато моргнул в мою сторону.

Мимо нашего столика продефилировал Евтушенко – под руку с новой женой-англичанкой.

– Эй, Циолковский! – окликнул его Коля, – познакомь со своей манчестер юнайтед!

– He is a great Russian poet, darling,* – представил Глазкова Женя, – like me**.

– Oh really?*** – обворожительно улыбнулась англичанка.

– Йа, йа, йес! – закричал Коля, – вери, вери натюрлих! – и плавно, как в замедленной киносъемке, опустил лицо в тихоокеанскую сельдь.

* Это – великий русский поэт, любимая (англ.)

** Как и я (англ.)

*** *В самом деле? (англ.)*

18. Гренада моя

Мне удалось однажды разыграть самого Михаила Светлова – дело совершенно невозможное, неслыханное!

Я подсел к нему за столик в ресторане ЦДЛ, плеснул себе водки из графина и тихо сказал:

– Миша, на днях тебя перевели на испанский. Генералиссимус Франко прочитал твои стихи и велел землю Гренады крестьянам отдать.

– Что ты говоришь! – изумился Светлов и чуть не поперхнулся соленым рыжиком.

– Такова сила поэтического слова, Мишенька.

– Теперь там будут колхозы, – грустно прошептал Миша, – ну не поц ли я был, Сёмочка?

Мы опорожнили два графина водки и вышли в ночь. Я под руку проводил Мишу до дома: благо, он жил недалеко, где-то на Тверской, сейчас не помню. Светлов по дороге то и дело горестно восклицал: «Поц! Поц! Старый глупый поц!».

А когда мой розыгрыш раскрылся, полгода со мной не разговаривал.

** История эта уже приводилась в разделе Добавлений к Литературным заметкам покойного Сёмы Штанского (ее рассказывает Иосиф Беленький). Здесь мы помещаем ее в подлинном виде.*

19. Не те песни

Как-то раз я встретил в писательском клубе Михаила Исаковского. Он печально уставился на меня сквозь толстые линзы очков:

– Не те песни я, видимо, сочиняю, Сёма. Вчера турки вычеркнули меня из списка нашей писательской делегации. Сказали: он написал «не нужен мне берег турецкий», так пускай и загорает в Сочи.

– А там ведь еще было «и Африка мне не нужна!» – сочувственно процитировал я.

– Да, да! Помню, на приеме в Кремле посол Уганды на меня нехорошо посмотрел. И лицо у него от злобы даже немножко побелело.

Мимо нас прошествовал Дезик Самойлов в вышитой болгарской рубашке. Исаковский показал на него пальцем:

– Эту рубаху ему Костя Ваншенкин подарил. Костя каждый день получает посылки с надписью «от благодарных болгар». За песню «Стоит под горою Алеша – Болгарии

русский солдат». Сто двадцать семь таких рубах ему пришло. И кто только в них не щеголяет: и Евтушенко, и Шульженко, и даже какой-то Банионис.

– А вы отчего же не щеголяете?

– Мне он дарить поостерегся. Болгары же на меня обижены за великодержавный шовинизм. Ведь я написал: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех».

– Да и с украинцами назревают проблемы, – продолжил поэт после тяжелой паузы. – Намедни пьяный Тычина стал у меня допытываться: «А шо в тэбэ, Васылич, враги сожгли родную *хату*? Чому не избу, чому не саклю?». Нет, не те песни я пишу, Сёма, совершенно не те. Надеюсь, евреи ничего против меня не имеют?..

20. Ветчина моего детства

Я родился в небольшом малороссийском городке, еще до войны, и детство мое было, как всякий может понять, довольно голодное. Жили мы в коммуналке. Соседями нашими были хохлы Мартын и Мария Закуреньки. Мартын часто возвращался домой среди ночи в сильном подпитии. Он ломился в запертую дверь и требовал ветчины. Ломился долго, требовал ветчины неоднократно, настойчиво и вперемешку с чудовищно-непристойной руганью. И это было странно, так как я от папы слышал, что Мартын пьет не закусывая и тем самым поступает очень дурно.

После свирепейшей перепалки жена его таки впускала. Раздавался сильный грохот. Я воображал, как Мартын устремляется к ветчине, сметая препятствия на своем пути, и наконец-то впивается зубами в сочный кусок розового мяса. Наволочка моя намокала голодной слюною...

И только потом я понял, что никакой ветчины Мартыну не перепало.

Когда мы начали в школе изучать рідну мову, я обнаружил, что «відчини» – форма повелительного наклонения глагола «открыть» (відчинити).

21. Холодная война

Давным-давно, в незапамятное застойное времечко сидели мы с Зямой Высоковским и Мишей Козаковым в еще не сгоревшем Доме Актера. Миша много пил и изрядно нервничал. Влив в себя одиннадцатую рюмку водки, наконец, разоткровенничался.

– Две недели назад я прочитал на публике пару стихотворений Бродского. А вчера позвонил мне режиссер Шпаковский и предложил главную роль в своем фильме «Мишка на Севере»*. И прибавил: ничего не понимаю, но ваша кандидатура горячо одобрена самим Юрием Владимировичем Андроповым.

Зяма нежно хлопнул Мишу по плечу:

– А, плюнь, старик, откажись и спи спокойно! Они тебя просто пугают. У меня был похожий случай. Я на каком-то выступлении сдуру скаламбурил: «болит рука политрука».

Так ко мне на каждом концерте подскакивал нанайский певец Кола Бельды и громко пел то в правое, то в левое ухо: «Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам!..»

– А с тобой, Семуша, ничего такого не происходило? – поинтересовался Козаков.

– Не знаю, может быть, это совпадение, – отвечал я, – но когда моя статья «Перспектив Мандельштама» вышла в западногерманском журнале, пьяный чукотский писатель Рыхтэу раза три подходил ко мне в ЦДЛе и кричал: «Земляк!». А потом ласково уговаривал: «Сёма, землячок, не выпить ли нам с тобою грамм по двести? Чукча угощает!»

Миша расхохотался и спокойно выпил двенадцатую рюмку.

Примечание.

* Такой фильм действительно был снят Сергеем Шпаковским в 1979 году.

22. На приеме у Брежнева

Эта история не касается меня лично и вообще не относится к нашим скорбным литературным делам. Скорее всего, она заинтересует любителей футбола. Ее мне поведал старинный друг, поэт-сатирик Абрам Трёмбач-Дехтярь, в прошлом – футболист, запасной игрок знаменитого бакинского клуба «Нефтчи».

Англичане, создатели футбола, как известно, стали чемпионами мира лишь однажды – в 1966 году, да и то благодаря нашему соотечественнику. Финальный матч Англия – ФРГ в качестве бокового арбитра судил покойный Тофик Бахрамов из Баку. В дополнительное время он засчитал англичанам гол, которого не было (на киноплёнке при замедленном повторе хорошо видно, что отбитый перекладной мяч не пересек линию ворот).

Поднялся шум. Взыла вся западногерманская пресса. «Найн Тофик!» – пестрело на каждой газетной полосе, на каждом мюнхенском заборе. Требовали даже разрыва дипломатических отношений с СССР.

Бедного Тофика по приезде из Англии тотчас же вызвали в Кремль. В кабинете сидело четверо: Брежнев, Подгорный, председатель спорткомитета и почему-то посол ФРГ. Все были мертвецки пьяны. Тофик сел, поневоле выпил предложенную ему рюмку, не в силах унять предательской дрожи в коленях.

– Скажит мне, гер Бахрамов, – вдруг произнес посол, уставившись в пустую пивную кружку, – за что ви помогайт англичан? Ведь это они убили граждански война ваши дваисат шест бакински комиссары.

– Да, всех расстреляли к бениной матери, – подтвердил едва ворочающий языком Брежнев, – шо же ты, Тофик, в самом деле?..

В кабинете повисла тяжелая тишина.

– Леонид Ильич... я... – испуганный арбитр попытался встать.

– Ты сиди, сиди, Тофик, выпивай, закусывай, – начал было председатель спорткомитета. Но округлившись глаза Тофика стали вдруг яростны и безумны.

– Это ты! – неожиданно вскрикнул он и плеснул из рюмки в физиономию немца, – это ты, сука, пытал в гестапо моего дядю Назима!..

Однако ему уже заламывали руки двое крепких парней, вынырнувших из книжного шкафа.

– Ферфлюхтер азербайжанише швайн, – пролепетал посол и, обменявшись рукопожатием с Подгорным, вышел, шатаясь, вытирая огромным носовым платком залитое водкой лицо.

А через много лет именем Тофика Бахрамова назвали главный стадион Баку. И когда сборная суверенного Азербайджана играла там с англичанами отборочный матч чемпионата мира, на майках большинства английских фанатов было написано: «Yes Tofik!»